

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

ГЛАС ГОСПОДА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.162.1-312.9

ББК 84(4Пол)-44

Л44

Серия «Эксклюзивная классика»

Stanisław Lem

GŁOS PANA

Перевод с польского *К. Душенко, Р. Нудельмана*

Серийное оформление
и компьютерный дизайн *Е. Фerez*

Печатается с разрешения наследников
Станислава Лема и Агентства Andrew Nurnberg
Associates International Ltd.

Лем, Станислав.

Л44 Глас Господа : [фантастический роман] /
Станислав Лем. — Москва : Издательство АСТ,
2016. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-099784-8

Пустыня Невада — бесплодная земля, камни и песок. И подземный исследовательский центр — секретный проект Пентагона по расшифровке послания иной цивилизации. В команде специалистов, привлеченных к работе, выдающийся математик, профессор Хогарт, человек, призванный сдвинуть зависший проект с мертвой точки.

Кто же они — те, что живут за сотни и тысячи световых лет от нас? Способны ли мы понять ПОСЛАНИЕ, ничего не зная об отправителях? И что принесет человечеству загадочная субстанция, созданная на основе информации, «вычитанной» из звездного кода, — невероятный скачок прогресса или неведомую опасность?

УДК 821.162.1-312.9

ББК 84(4Пол)-44

© Stanisław Lem, 1968
© Перевод. К. Душенко, 2016
© Перевод. Р. Нудельман, 2016
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2016

ISBN 978-5-17-099784-8

От публикатора

Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э. Хогарта. К сожалению, выдающийся ученый не успел завершить и подготовить к печати книгу, над которой долгое время работал. Помешала одолевшая его болезнь. О работе этой, для него необычной и предпринятой не столько по собственному желанию, сколько из чувства долга, покойный профессор говорил неохотно даже с близкими людьми (к которым я имел честь принадлежать), поэтому при подготовке рукописи к печати появились спорные вопросы. Должен признать, что некоторые из ознакомившихся с текстом выступали против публикации, которая будто бы не входила в намерения покойного. Он, однако, не оставил какого-либо письменного свидетельства в этом духе, так что возражения подобного рода лишены оснований. В то же время было очевидно, что рукопись осталась незавершенной, заглавие отсутствует, а один из разделов — то ли вступление, то ли послесловие к книге — существует только в черно-

*вике. Будучи, как коллега и друг покойного, наде-
лен по завещанию полномочиями, я решил в конце
концов сделать этот фрагмент, весьма существен-
ный для понимания целого, введением к книге. На-
звание «Глас Господа» предложил издатель, мистер
Джон Ф. Киллер; пользуясь случаем, хочу выразить
ему признательность за внимание, проявленное им
к последнему труду профессора Хогарта, а также
поблагодарить миссис Розамонду Т. Шеллинг, ко-
торая согласилась участвовать в подготовке кни-
ги к печати и взяла на себя окончательную прав-
ку текста.*

Профессор Томас В. Уоррен, Отделение мате-
матики, Вашингтонский университет, Вашинг-
тон, округ Колумбия, апрель 1996 года

Предисловие

Многие читатели будут неприятно поражены моими словами, однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать; а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний.

По не зависящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения; пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовитта. Йовитт именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставляли перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых, например, в связи с революцией в математике, с физикализаци-

ей этики, а также с Проектом ГЛАГОС. Дочитав до этого места, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался наконец настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало, ведь одно дело — обнажаться самому, и совсем другое — когда тебя обнажают. Однако Йовитт, словно испугавшись собственной пронизательности, затем возвращается (весьма непоследовательно) к ходячей трактовке моей персоны — как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подходящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку, к другим моим жизнеописаниям; откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Белойну: я, мол, умру, когда она будет заставлена вся. Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренности. Итак — возвращаюсь к Йовитту, — мне еще раз повезло или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить?

Профессор Йовитт писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволено смотреть одинаково. Ска-

жем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов, и некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей. Но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу; литературоведу позволено говорить о гомосексуализме Оскара Уайльда, но трудно представить себе науковед, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавай непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком, но гениальный мерзавец — это внутреннее противоречие: гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще не отмененный канон.

Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти исследователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаруживает в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда — хуже некуда. Скотине под благочестивым ездоком неудобно, но не лучше и ездоку: ему ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, — просто мешанина примитивнейших мифов.

Психоанализ возвещает истину инфантильным, то есть школярским, манером: он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкасается с правдой, нередко неотличимо от лжи — и это как раз такой случай. Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии, и человек еще раз признал себя невиновным — как арену борьбы двух сил, которые заполонили его и делают с ним что хотят. Словом, психоанализ — это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразия раскрывают нам человека; вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура.

Так что профессор Йовитт скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остался в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть все же разница между карикатурой и портретом.

Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее: все неясное они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив и захоти он того, мог бы предоставить все недостающие данные. Однако он не располагает ничем, кроме неких ги-

потез о самом себе, которые могут представлять интерес как творения его ума, но не обязательно как недостающие звенья его биографии.

Собственно говоря, при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных. В молодости даже умные (хотя, по недостатку опыта, наивные) люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются: тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому — в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, — нисколько не меньше разнообразия верований метафизических.

Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет сорок назад; его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня нелестно. Но эта нелестность не сводится к «срыванию маски» — единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что в нравственном отношении он был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем его самое больное место. Мысль, «достигающая потолка своей эпохи», как выражается Йовитт, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им.

Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего. Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит, и не подверг сомнению себя самого.

Если я, как особа, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение — лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений — не столько собственно свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак; нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией.

Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил; а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки, в случае надобности, наших природных изъянов. Вот уже сорок с лишним лет я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси — потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу — о чем я, разумеется, не догадывался.

Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых — особенно в церкви — или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребячески-ми и смешными, совершенно не важно. Просто я ставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только шмящую скорбь, гнев, разочарование, которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий.

Я — если можно сказать так о малолетнем ребенке — жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия, я призывал его — и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких — а стало быть, и дурных — помыслов. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, — и злоба моя становилась тем бессильней, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо.

Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как мучительное несчастье, с ко-

торым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной; но прежде всего она устремлялась на меня самого; мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно; еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор старался держаться — не всегда достаточно последовательно — выработанной однажды программы.

С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница между мной и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро — они просто следуют своим естественным склонностям; а я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать — значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить.

Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой запечатлено ангельское пе-

ние, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев. С точки зрения детерминизма тот, кто хотел и мог стать лучше, был обречен на это заранее, и точно так же была предreshена судьба того, кто хотел, но не смог — или даже не пытался — захотеть. Заключение это ложно; звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорит о другом; величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей не равнозначен его оправданию.

В одном Йовитт, пожалуй, прав: я всегда искал трудностей и обычно не давал воли своей врожденной злобности — это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо, но поступал я так не потому, что перебарывал в себе склонность ко злу ради добра как более высокой ценности, — напротив, как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне важен был баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметикой морали. Ей-богу, не знаю, что бы стало со мной, окажись первичным свойством моей природы склонность к совершению добрых поступков: как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах.

Один только раз я не отстранился от зла; это воспоминание связано с долгой и ужасной

предсмертной болезнью матери; я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда девять лет. Она, воплощение душевного спокойствия, силы, прямо-таки величественной гармонии, лежала в агонии, затаившейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств комнате, я еще сдерживался, но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни, а так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожи и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия? Я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии ничуть не менее искреннем, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно — я помню прекрасно — ужаснуло меня, но оно же вывело меня за пределы обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением.

Ночью, в постели, один, я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам; и вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез — и уснул. Должно быть, слезы я счел искуплением. Но дни шли за днями, я подслушивал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу, и все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один. Так что первым человеком, которого я испугался, был я сам.

После смерти матери я впал в отчаяние — детское, не отягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзией, противоборство постыдное и непристойное, — совершенство расплзлось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и, хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли (от наслаждения — тоже). В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторглось в обыденность, я признал более сильной стороной: она побеждала, поэтому я к ней и примкнул.

Мой тайный смех... неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет: ее страданий я лишь боялся — и только, они неизбежно сопутствовали умиранию, это я мог понять и, если бы мог, освободил ее от боли, ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок, но никакого убийцы не было, и все, что я мог, — это вбирать в себя коварство неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое; оно подвергалось глумлению и от этого глумления корчило. Мне оставалось либо поги-